

Повесть «Зона ветров» приходит к читателю вслед за обширным трехтомником прозы и публицистики Веры Галактионовой, посвященным, как сразу оценили критики, такой глубинной нашей теме, как выживание русского народа, русского характера и русского государства под гнетущими пластами меняющейся власти: древней, потом новой — феодальной, потом коммунистической, а ныне перестроечной. Как сохранялся исконный русский образ бытия под этими бесконечным, извне налетающими покрывалами и покрывками?

Что можно добавить к этому трехтомнику? Биографы все свяжут вместе. А я сосредоточусь на том, что (для меня) несет в себе новая повесть.

Музыку!

Музыка определяет звучание и смысл повествования; читатель, обладающий нормальным слухом, эту музыку уловит с первых же слов повести.

«На перекрестье двух воздушных потоков — свирепых сибирских и пыльных азиатских, — под столкновеньями высоких дымящихся вихрей, — студеной и горячих, — посредине кулундинской степи жил незнакомый поселок. Лишь на исходе лета ветры тут опадали ненадолго — прижимались к земле, словно устав от буйства, напоминало о котором только слабое дуновение, пробежавшее изредка по траве. И поселок млел теперь, он блаженствовал под сентябрьским слабым солнцем в редком для этих краев затишье. И холодная небесная синева казалась безмятежной, безбрежной и такой невозмутимой, будто краткое верховое безветрие было вечным. А желтые крупные дыни, разлегшиеся по огородам, сияли вокруг кирпичных домов неистово и нежно...»

Два ключевых слова определяют мелодию: «свирепое» и «пыльное». Одно отрицает другое, но одно без другого не живет: «пыль» покрывает реальность без уборки (и при уборке тоже), «свирепый» холод леденит (фатально неизбежен в Сибири). Меж этими полюсами натягиваются струны мелодии, и действующие герои реализуются скорее как ноты, чем как паспортные индивиды.

Корректор типографии — Цицера, проникнувшийся чтением своих профессиональных предтеч. Про Блудницу подробностей не привожу: и так понятно, почему такое имечко.

Как взаимодействуют эти люди, вступая в общение?

«— Я ее убью! — твердо сказал Цицера про Блудницу. — Вот и весь грех перечеркнут. И всем спасенье.

— Убьешь эту — другая для греха явится. Испытывать семьи ваши. Грех свой убей! А не человека.

— Как его убить? Грех? — возмутился Цицера. — Если природа нам дана — дурная?

— Возненавидь его! — прокричал так же, как Цицера, странный Монах. — Грех — возненавидь. Не возненавидишь — не победишь.

— ...А зачем нам сообщали, что мир спасет любовь? — совсем растерялся широкоплечий корректор. — Если она больше не целительна, а целительна — ненависть...

— Что тебе до мира, бестолковый ты, плотский, несурьезный человек? — проговорил Монах напоследок. — Спасай себя. Выплывай, пока не погиб ты в мирских нечистотах!..

Тогда, может, спасется кто-то рядом».

Спасется ли?

«В этом странном мире людей, где самую великую музыку сочинял глухой? Где самые красочные путешествия были описаны слепцом? И где зарыв человека в землю, говорят, что он теперь на небе... Как жить нам в это мире перевернутых смыслов?»

И как решить, где мир перевернут, а где изначален?

Темные листья о чем-то шуршат, о чем-то важном, чего люди о себе не знают.

А если узнают — смогут ли выдержать?

Музыка переворачивающихся смыслов... брезжит в ситуациях, когда рядом оказываются смыслы, которые похожи или соседствуют, осознавая контрастность.

Русским людям очевиднее смысл русскости, когда рядом оказывается кто-то нерусский, ну, скажем, немец. Обнаруживается же таковой среди механизаторов совхоза «Луч!». И получает слово:

«— Следует выжить за полное наше дальнейшее самообеспечение. И за то, что мы с Эльзой не уехали в Германию, как глупый, бедный брат мой Эрих.

— А что ваш Эрих? — спросила пожилая газетная верстальщица, выбирая себе подходящий ломтик сыра.

Плотный, как пятипудовый мешок с овсом, краснощекий и крепкий, Отто отвечал, закусывая неторопливо:

— Он теперь там поедает всякую подозрительную пищу из ярких упаковок, а его десятилетний сын жуёт жвачку, словно животное, и смотрит порнографию. От этого лицо его сына покрылось преждевременными угрями и нервы пришли в негодность. Ох, до чего они докатились... А все оттого, что здесь наш Эрих плохо учился, плохо вел себя в школе, озоровал и совсем не слушал нашу грасс-муттер, которая пыталась научить его немецкому языку. Да, он один из всей нашей семьи не знал немецкого языка! И вот именно Эрих — в Германии. Он там живет, как в плену. Да... Нетерпеливый наш Эрих не захотел дожидаться здесь правильного социализма и не верил, что он скоро наступит, как только кончится этот затянувшийся кризис! Устремился туда, где можно красиво жить! Не зря когда-то комсомол выгнал его из своих рядов...»

Тут объявляется дядька Курт:

«— Эльза! Зачем я в эту Германию приехал! Здесь настоящего — нет!

Оказывается, жизнь в Европе налажена только для стойлового содержания людей, хотя их стойла большие и очень благоустроенные. Да, все там одинаково сыты, ухожены и обеспечены жильем. Но мало осталось таких мест на земле, где судьбу свою можно строить разумно... По-своему жить сейчас можно только в России, в глуши! Здесь, в кулундинских степях, мировая зараза нас не достигнет никогда.

Подумав, редактор сказал:

— Но молодежи, наверно, там лучше.

Блудница быстро обернулась к нему, быстро кивнула и быстро увела узкий взгляд свой к узкому вырезу на собственном платье.

— Им доступны блага цивилизации, — негромко подтвердила она.

— Так лучше молодежи, так лучше, что... — еще больше закручинился Отто. — Обе наши племянницы, дочери Эриха, считай, пропали. Они торгуют сотовыми телефонами и сделались шлюхами. И даже он, бывший хулиган, известный шалопай Эрих, сказал про своих девочек по телефону: «Я их ненавижу!» Такие они сделались распущенные. Даже для самого плохого замужества теперь не годятся. Семья им стала не нужна... Нет, нет: достойно жить — там уже нельзя.

— Какая это жизнь?! — дружно посочувствовали с тумбочки два корреспондента сельхозотдела Отто Келлеру. — Какая же это жизнь, когда одни немцы кругом?.. Иностранцы немцы.

— Да, безнациональные немцы! — заволновался Отто. — Бездушные совсем... Они стали там просто немецкоговорящие европейцы! И на синтетической пище это уже не люди сделались, а... уроды. Общемировые уроды».

Замечательная симфония! Смысл ее? Чтобы оценить русскую жизнь, надо глянуть на нее исцужа. Не затем, чтобы решить, какая лучше: русская или германская. Такой вопрос изначально и загодя лишен смысла. Нет лучших и худших национальных миров. Но соприкасаясь, национальные миры лучше выявляют свое. Так русские осознавали себя, встык с французами, британцами, итальянцами, а в новое время — с испанцами, американцами... А уж немцы — наши вечные спутники.

То есть: немец живет на Руси, упоенно погружаясь в русскую непредсказуемость, которая прикрывает и хранит нашу невиданную всеотзывчивость.

И наоборот: русский человек, тоскующий по законнослуго, скорее всего, почувствует его, командирясь в Германию. Или поставив немца во главе нашей Академии наук... Одни национальные характеры не бывают лучше или хуже других, они все равнодостоинны! И это особенно хорошо видно в ближних соседствах.

Но главное, что должно храниться в национальных характерах, — это память и достоинство. Память, пронесенная и сохраненная веками, как музыка... среди грохота свирепой или пыльной реальности, среди ее ветров.

Отыскать хотя бы могилку предтеч, предков...

«— Отыскал?

— Не отыскал... — ответил Монах».

Монах — хранитель финального мотива. Все гаснет, звучит только прощальная мелодия и из зоны ветров выводит музыку к немоте.

И завершает:

«Одна старая работница Сельсовета покаялась. В последнюю ночь, при аресте, батюшка на храм свой перекрестился. И сказал: «Всем дары даются. Дом — дар. И дорога — дар. Молитесь обо мне!» Это он — конвоирам и ей, комсомолке. С тем его в сани и затолкали...»

Все, финал! Неотменимо трагичный.

Трагична наша История.

Другой нет.